



ЕВГЕНИЙ  
**ЗАМЯТИН**





ЕВГЕНИЙ  
**ЗАМЯТИН**



Ловец человеков



Издательство АСТ  
Москва

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
3-26

Серия «Русская классика» основана в 2008 году

Компьютерный дизайн *В.А. Воронина*

**Замятин, Евгений Иванович.**

3-26 Ловец человек : [сборник] / Евгений Иванович Замятин. — Москва : Издательство АСТ, 2017. — 544 с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-17-101668-5

В данный сборник вошли наиболее известные повести и рассказы Замятина. Среди них дебютный рассказ «Один», первая и принесшая автору огромный успех повесть «Уездное», политическая военная сатира «На куличиках», автобиографический рассказ «Три дня», повесть-фарс «Алатырь», иронические, сатирические повести, высмеивающие коммерческий дух английского общества, — «Островитяне» и «Ловец человек», а также многие другие.

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-101668-5

© ООО «Издательство АСТ», 2017

## Уездное

### 1. Четырехугольный

Отец бесперечь пилит: «Учись да учись, а то будешь, как я, сапоги тачать».

А как тут учиться, когда в журнале записан первым, и, стало быть, как только урок, сейчас же и тянут:

— Барыба Анфим. Пожалуйте-с.

И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает и без того низкий лоб на самые брови.

— Опять ни бельмеса? А-а-ах, а ведь малый-то ты на возрасте, замуж пора. Садись, брат.

Садился Барыба. И сидел основательно — года по два в классе. Так испрохвала, не торопясь, добрался Барыба и до последнего.

Было ему о ту пору годов пятнадцать, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошая озимь, усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд — глядеть, как бабы купаются. А ночью после — хоть и спать не ложись: такие полезут жаркие сны, такой хоровод заведут, что...

Встанет Барыба наутро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да пропадай оно пропадом!

Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал, неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый, зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей повыступят все углы чудного его лица.

Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный,

четырёхугольный рот и узенький лоб: как есть уютю, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад.

Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут же потешались всласть.

— Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.

И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.

— Мало, — угрюмо бурчит Барыба, — булку.

— Вот черт, едун! — но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками — знай подкладывай! Потеха ребятам, диковина.

Забавы забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть, даром что зеленый май на дворе.

Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экзамен — первый из выпускных. Вот, вечером как-то, отец отложил в сторону дратву и сапог, очки снял да и говорит:

— Ты это помни, Анфимка, заруби на носу. Коли и теперь не выдержишь — со двора стоню.

Как будто чего уж лучше: три дня подготовки. Да на грех завязалась у ребят орлянка — ох и завлекательная же игра! Два дня не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл: семь гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на третий день, слава те Господи, все вернул и чистых еще выиграл больше полтинника.

Восемнадцатого, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни гугу уездники, ждут: ну, сейчас поплывет, бедняга.

Вытянул Барыба — и уставился в белый листок билета. От белизны этой и от страха слегка затошнило. Ахнули куда-то все слова: ни одного.

На первых партах подсказчики зашептали:

— Тигр и Ефрат... Сад, в котором жили... Месопотамия. Ме-со-по-та... Черт глухой!

Барыба заговорил — одно за другим стал откалывать, как камни, слова — тяжкие, редкие.

— Адам и Ева. Между Тигром и... этим... Ефратом. Рай был огромный сад. В котором водились месопотамы. И другие животные...

Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыба приободрился.

— Это кто же-с месопотамы-то? А, Анфим? Объясни-ка нам, Анфимушка.

— Месопотамы... Это такие. Допотопные звери. Очень хищные. И вот в раю они. Жили рядом...

Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой, ребята полегли на парты.

\* \* \*

Домой Барыба не пошел. Уж знал — отец человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает. Разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.

## 2. С собаками

Жили-были Балкашины, купцы почтенные, на заводе своем солод варили-варили, да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко гдей-то в большом городе живут наследники ихние, да вот все не едут. Так и горюет-пустует выморочный дом. Похилилась деревянная башня, накрест досками заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лазят за добычей бродячие собаки.

Тут вот и поселился Барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли,

из досок сколочены: чем не кровать? Благодать Барыбе теперь: учиться не надо, делай, что тебе в голову взбредет, купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посадку броди, в монастырском лесу — днюй и ночуй.

Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит?

Стал Барыба за поживой ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая исподлобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без устали молотящих языком баб: чуть которая-нибудь зазевалась матрена — ну, и готово, добыл себе Барыба обед.

Не вывезет на базаре — побежит Барыба в Стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком — рыщет по задкам, загуменникам, огородам. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть — Боже избави: хозяйюшка вон она — вон, грядку полет, и ныряет в зелени красный платок. Наберет Барыба картошки, моркови, испечет дома — на балкашинском дворе, ест, обжигаясь, без соли — вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно: быть бы живу.

Не задастся, не повезет иной день — сидит Барыба голодный и волчьими, завистливыми глазами глядит на собак: хрустят костью, весело играют костью. Глядит Барыба...

\* \* \*

Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе! Зачиврел, зачерствел Барыба, оброс, почернел; от худобы еще жестче углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелей, четырехугольной стало лицо.

Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы чего-нибудь: чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать.

Бывали дни — целый день Барыба лежал в закуте своей, ничком на соломе. Бывали дни — целый день Барыба метался по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь.

На соседнем, чеботаревском дворе — с утра народ кожемяки в кожаных фартуках, возчики с подводами кож. Увидят — чей-то глаз вертится в заборной дыре, ширнут кнутовищем:

— Эй, кто там?

— Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?

Барыба — прыжками волчиными — в закуту к себе, в солому, и лежит. Ух, попадись ему возчики эти самые: уж он бы им — уж он бы их...

С полудня на чеботаревском дворе — ножами на кухне стучат, убоиной жареной пахнет. Инда весь затрясется Барыба у шелки у своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обедать там не кончат.

Кончат обедать — как будто и ему полегче станет. Кончат, и выползает на двор Чеботариха сама: красная, наседалась, от перекорма ходить не может.

— У-ух... — железом по железу — заскрипит зубами Барыба.

По праздникам над балкашинским двором, на верху переулочка, звонила Покровская церковь — и от звона было еще лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванивает...

«Да ведь вот же куда — в монастырь, к Евсею!» — осеңило звоном Барыбу.

Малым мальчишкой еще, после порки бегивал Барыба к Евсею. И всегда, бывало, чаем напоит Евсей, с кренделями с монастырскими. Поит — а сам приговаривает, так что-нибудь, абы бы утешить:

— Эх, малый! Меня намедни игумен за святые власы схватил, я и то... Эх, мал... А ты ревешь?

Веселый прибежал в монастырь Барыба: ушел теперь от собак балкашинских.

— Отец Евсей дома?

Послушник прикрыл рот рукой, загоготал:

— Во-она! Его и с гончими не разыщешь: запил, всю неделю в Стрельцах крутит отец Евсей.

Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашинский двор...

### 3. Цыплята

После всенощной либо после обедни догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет:

— Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж делать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет.

А Чеботариха на линейке своей расползется, как тесто, и, губы поджавши, скажет:

— Никак ни можно, батюшка, бизпридстанно биение сердца.

И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку — одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так, на своих ногах без колес, — никто Чеботариху на улице и не видел. Уж чего ближе — до бани ихней чеботаревской (завод кожевенный и баню торговую муж ей оставил), так и то на линейке ездила, по пятницам — в бабий день.

И потому линейка эта самая, и мерин полово-пегий, и кучер Урванка — у Чеботарихи в большом почете. А уж особо Урванка: кучерявый, силища, черт, и черный весь — цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись: попадись-ка к нему, к Урванке, — взлупцует, брат, так, что... Человека до полусмерти избить — Урванке первое удовольствие: потому — самого очень бивали, в конокрадах был.

А вот была-таки и любовь у Урванки: лошадей он любил и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то разговаривать с ними

возьмется на каковском-то языке. Может, и правда — не-христь был?

А кур любил Урванка за то, что весною были они цыплятами — желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало, за ними по всему по двору: ути-ути-ути! Под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках — а уж изловит, на руку посадит — и первое ему удовольствие — духом цыпленка греть. И так, чтобы рожи его о ту пору никто не видал. Бог его знает, какая она бывала. Так, не поглядевши, и не представить: Урванка этот самый — и цыпленок. Чудно!

Вышло так на горе Барыбино, что и он цыпляет Урванкиных полюбил: вкусны очень, повадился их таскать. Другого, третьего нет — заприметил Урванка. А куда запропастились цыплята — и ума не приложит. Хорек разве завелся?

После полдён лежит как-то Урванка под сараем в телеге. Жарынь, в дрему клонит. Цыплята — и то под сарай запрятались, в тень у стеночки присели, глаза отонком закрыли, носом клюют.

И не видят, бедняги, что доска сзади отодрана, и тянется через дыру, тянется к ним рука. Цоп — и заверещал, затекал цыпленок в Барыбином кулаке.

Вскочил, заорал Урванка. Мигом перемахнул через забор. — Держи, держи его, держи вора!

Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыба в свои ясли, залез под солому, но Урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги.

— Ну, погоди же ты у меня! Я тебе — за цыплят за моих...

И поволок за шиворот — к Чеботарихе: пусть уж она казнь вору придумает.

#### 4. Смилостивился

Кухарку — Анисю толстомордую прогнала Чеботариха. За что? А за то самое, чтобы к Урванке не подкатывалась. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету

по всему посаду кухарок. Пришлось взять Польшку — так, девчонку ледащую.

И вот в Покровской церкви к вечерне вызывали, Польшка эта самая в зальце пол мела, посыпав спитым чаем, как Чеботариха учила. А Чеботариха сама тут же сидела на крытом кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку: в мухоловке — квас, а в квасу утопились со скуки мухи. Чеботариха зевала, крестила рот. «Ох, Господи-батюшки, помилуй...»

И смилоствился: какой-то топот и гвалт в сенях — и Урванка впихнул Барыбу. Так оторопел Барыба — увидел Чеботариху самое, — что и вырваться перестал, только глаза, как мыши, метались по всем углам.

Про цыпляточек Чеботариха услышала — раскипелась, слюнями забрызгала.

— На цыпляточек, на андельчиков Божиих, руку поднял? Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси. Неси, неси, и знать ничего не хочу!

Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой — и мигом на полу Барыба. Закусался было, змеем завился — да куда уж ему против Урванки-черта: разложил, оседлал, штаны дырявые мигом содрал с Барыбы и ждал только слова Чеботарихина — расправу начать.

А Чеботариха — от смеху слова-то и не могла сказать, такая смехота напала. Насилу уж раскрыла глаза: чтой-то они там на полу затихли?

Раскрыла — и оступился смех, ближе нагнулась к напряженному, зверино-крепкому телу Барыбы.

— Уйди-кось, Урван. Слезь, говорю, слезь! Дай поспрошать его толком... — на Урванку Чеботариха не глядела, отвела глаза в угол.

Медленно слез Урванка, на пороге — обернулся, со всех сил хлопнул дверью.

Барыба вскочил, метнулся скорей за штанами: батюшки, от штанов-то одни лохмоты! Ну, бежать без оглядки...

Но Чеботариха крепко держала за руку:

— Вы чьих же это, мальчик, будете?

Еще оттопыривала нижнюю губу, вместо «мальчик» сказала «мыльчик», еще напускала важность, но уж что-то другое учуял Барыба.

— Са-сапожников я... — и сразу вспомнил всю свою жизнь, заскулил, завыл. — За экза-амен меня отец прогнал, я жи-ил... на бал... На балкаши-и...

Всплеснула Чеботариха руками, запела сладко-жалобно:

— Ах, сиротинушка ты моя, ах, несчастная! Из дому — сына родного, а? Тоже отец называется...

Пела — и за руку волокла куда-то Барыбу, и тоскливо-покорно Барыба шел.

— ...И добру-то поучить тебя некому. А враг-то — вон он: украдь да украдь цыпленочка — верно?

Спальня. Огромная, с горою перин, кровать. Лампадка. Поблескивают ризы у икон.

На какой-то коврик пихнула Барыбу:

— На коленки, на коленки-то стань. Помолись, Анфимушка, помолись. Господь милосливый, он простит. И я прошу...

И сама где-то осела сзади, яростно зашептала молитву. Обалдел, не шевелясь стоял на коленях Барыба. «Встать бы, уйти. Встать...»

— Да ты что ж это, а? Как тебя креститься-то учили? — схватила Чеботариха Барыбину руку. — Ну, вот так вот: на лоб, на живот... — облепила сзади, дышала в шею.

Вдруг, неожиданно для себя, обернулся Барыба и, стиснув челюсти, запустил глубоко руки в мягкое что-то, как тесто.

— Ах ты етакой, а? Да ты что ж это, вон что, а? Ну, так уж и быть, для тебя согрешу, для сиротинки.

Потонул Барыба в сладком и жарком тесте.

На ночь Полька ему постелила войлок на рундуке в передней. Помотал головой Барыба: ну и чудеса на свете. Уснул сытый, довольный.

## 5. Жисть

Да, тут уж не то что на балкашинском дворе жизнь. На всем на готовеньком, в спокойе, на мягких перинах, в жарко натопленных старновкою комнатах. Весь день бродит в сладком безделье. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх, жисть!

Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до вечера, живот в еде класть. Так уж у Чеботарихи заведено.

Утром — чай, с молоком топленным, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой (не очень уж, впрочем), голова косынкой покрыта.

— И что это в косынке вы всё? — скажет Барыба.

— То-то тебя учили-то! Да нетто можно женщине простоволосой ходить? Чай, я не девка, ведь грех. Чай, венцом покрытая с мужем жила. Это непокрытые которые живут, непутевые...

А то другой какой разговор заведут пользительный для еды: о снах, о соннике, о Мартыне Задеке, о приметах да о присухах разных.

Туда-сюда — ан, глядь, уже двенадцатый час. Полудновать пора. Студень, щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, требуха с хреном, моченые арбузы да яблоки, да и мало ли там еще что.

В полдень — ни спать, ни купаться на реке нельзя: бес-то полуденный вот он — как раз и прихватит. А спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет.

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню, к Польке: дура-дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца Полькина, и давай его в сапог сажать. Визг, содом на кухне. Полька, как угорелая, мыкается кругом.

— Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Васеньку, Христа ради!

Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Польшка умоляет уж Васеньку:

— Васенька, ну, не плачь, ну, потерпи, ребеночек, потерпи! Сейчас, сейчас отпустит.

Истошным голосом кричит кот. У Польки — глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рукав Барыбу слабой своей рукой.

— Уйд-ди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!

Запустил в угол Барыба сапог вместе с котом и доволен, грохочет-громыхает по ухабам телегой.

\* \* \*

Ужинали рано, в девятом часу. Принесет Польшка еду — и отсылает ее Чеботариха спать, чтобы глаз не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик.

— Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку.

Молча пьют. Тоненько пищит и коптит лампа. Долго никто не видит.

«Коптит. Сказать бы?» — думает Барыба.

Но не повернуть тонущие мысли, не выговорить.

Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнувшим светом лампы — в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И виден, и кричит только один жадный рот — красная мокрая дыра. Все лицо — один рот. И все ближе к Барыбе запах ее потного, липкого тела.

Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой. Смрад.

А в спальне — лампадка, мельканье фольговых риз. Раскрыта кровать, и на коврике возле бьет Чеботариха поклоны.

И знает Барыба: чем больше поклонов, чем ярее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью.

«Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом...»

Но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой.